

ГОЛЕМ



## СОН

Лунный луч падает в изножье моей кровати и лежит там, как большой светлый плоский камень. Когда полная луна идет на убыль и левая половина ее начинает чахнуть — подобно лицу, на худеющих скулах которого при встрече со старостью сперва проступают морщины, — в такие ночи мною овладевает смутная щемящая тоска.

Я не сплю и не бодрствую, и в моей полусонной душе пережитое сплетается с прочитанным и услышанным, как сливаются струи, отличающиеся друг от друга по цвету и прозрачности.

Прежде чем улечься, я читал жизнеописание Будды Гаутамы, и в игре бесчисленных комбинаций мое сознание снова и снова пронизывали слова:

«Подлетел ворон к камню, похожему на кусок сала, и подумал: авось тут удастся чем-нибудь полакомиться. Не найдя ничего, чем можно было бы поживиться, улетел ворон прочь. Так и мы, подобно ворону, кружащему над камнем, — мы, греховодники, — оставляем аскета Гаутаму, когда теряем к нему интерес».

И образ камня, похожего на кусок сала, увеличивается в моем мозгу до чудовищных размеров: я ступаю по высохшему руслу реки и собираю гальку.

Вот серо-голубая в сверкании вкрапленных пылинок, над которой я долго ломаю голову, но так и не могу решить, что же с нею делать; затем черная в сернисто-желтых пятнышках, где как бы отпечатались попытки ребенка скопировать неповоротливую крапчатую саламандру.

И мне хочется зашвырнуть ее далеко от себя, эту гальку, но каждый раз камни выскользывают из рук, и я не в состоянии дать глазу отдохнуть от их зрелища.

Все камни, что когда-то играли роль в моей жизни, внезапно всплывают вокруг меня.

Одни неуклюже бьются, чтобы выкарабкаться с отмели к свету, спасаясь от набегающей волны, словно крупные — под цвет сланца — раки-отшельники, им так хочется привлечь к себе мое внимание и поведать мне о безмерно важных вещах.

Другие — в изнурении — падают без сил обратно в свои норы, растеряв все слова.

Порою я пробуждаюсь от сумерек полусна и на миг снова замечаю, что на скомканном одеяле в изножье кровати лежит лунный луч, как большой светлый плоский камень, чтобы заново брести ощупью за своим затухающим сознанием в тревожном поиске камня, измучившего меня, — похожий на кусок сала, он может прятаться где-нибудь в обломках моих воспоминаний.

Я представляю себе, что рядом с ним когда-то должна была упираться в землю водосточная труба — согнутая под тупым углом, с краями, изъеденными ржавчиной, — и усилием воли упорно пытаюсь задержать в душе этот образ, чтобы обмануть и убаюкать взбудораженные мысли.

Но мне не удастся.

Снова и снова с нелепым постоянством в глубине души раздается упрямый голос — без устали, как стук ставней, которыми ветер равномерно ударяет в стену: это вовсе не то, это вовсе не камень, похожий на сало.

И от голоса не отделаться.

Если я в сотый раз возражаю, что ведь это пустяк, голос ненадолго смолкает, а потом незаметно пробуждается вновь и настойчиво начинает сначала: ладно, ладно, пусть так, но это же не камень, похожий на кусок сала.

Мало-помалу мною овладевает невыносимое ощущение полной беспомощности.

Не знаю, что случилось потом. По своей ли воле прекратил я всякое сопротивление, или же меня одолели и сковали мои собственные мысли.

Знаю лишь, что мое спящее тело лежит в кровати, а мои чувства отделились от тела и больше от него не зависят.

Пытаюсь вдруг спросить, что такое теперь мое «я», но спохватываюсь, что у меня больше нет голоса, способного спрашивать; тогда мне становится страшно: ведь снова может раздаться докучливый голос и опять начнет бесконечное дознание про камень и сало.

И я просто стараюсь ничего не видеть и не слышать.

## ДЕНЬ

И тогда я вдруг оказался в каком-то угрюмом дворе, сквозь рыжеватую арку ворот увидел по другую сторону узкой и грязной улочки еврея-старьевщика. Он стоял у подвала, верхний край входа был увешан ветхим металлическим хламом — сломанными инструментами, ржавыми стремянами, коньками и множеством прочих допотопных вещей.

Подобное зрелище несло в себе удручающее однообразие, каким были отмечены все впечатления, изо дня в день — зачастую и так и этак — подобно разносчику переступавшие порог нашего опыта, картина не вызывала во мне ни любопытства, ни удивления.

Мне стало ясно, что я уже давно чувствовал себя здесь как дома.

Впрочем, и это чувство, вопреки его контрасту с тем, что я все же недавно испытал, попав сюда, не оставило во мне глубокого следа.

Однажды мне довелось услышать или прочитать о странном сравнении камня с куском сала, и внезапно этот образ пришел мне в голову, когда я поднялся по стертым ступенькам в свою каморку и мимоходом подумал о том, что мне напоминает лоснящийся каменный порог.



Тут я услышал над собою шаги, кто-то бежал сверху по лестнице, и, подходя к своей двери, я увидел четырнадцатилетнюю рыжеволосую Розину, соседку старьевщика Аарона Вассертрума.

Я вынужден был пройти вплотную к ней, а она встала спиной к лестничным перилам и призывно откинулась назад.

Свои грязные пальцы она положила на железную перекладину — для опоры, и я видел, как из тусклого полумрака бледно высвечивали оголенные по локоть руки.

Я постарался избежать ее взгляда.

Меня тошнило от ее назойливой ухмылки и воскового лица, напоминавшего морду игрушечной лошади-качалки.

Скорее всего, у нее пористое белое тело, предположил я, как у земноводной личинки, что я видел как-то в клетке для саламандр у торговца птицами.

Ресницы рыжих вызывали во мне такое же отвращение, как ресницы кролика.

Я распахнул дверь настежь и тут же закрыл за собой.

Из моего окна был виден старьевщик Аарон Вассертрум, по-прежнему торчавший у своего подвала.

Он прислонился у входа в сумрачный свод и щипцами стриг себе ногти.

Приходилась ли ему рыжая Розина дочерью или племянницей? Ведь он совсем не был похож на нее.

Среди еврейских лиц, ежедневно встречавшихся мне на Ханпасгассе, я четко распознавал различные колена Израилевы, которые даже благодаря близкому родству так же мало позволяли затушевывать непохожесть отдельных личностей, как смешивать масло с водой. Когда нельзя сказать: вон те, что там, братья или отец с сыном.

Тот принадлежит к одному колену, этот — к другому, вот все, что можно прочесть на их лицах.

И если бы даже Розина была вылитый старьевщик, это бы еще ничего не доказывало!

Такие колена питают друг к другу презрение и ненависть, разбивавшие даже тесные кровные узы, но они понимают, что

это надо скрывать от постороннего взгляда, как страшную тайну.

Никому не дано разгадать ее, и в подобном единодушии они напоминают озлобленных слепцов, вцепившихся в мокрую грязную веревку: этот — обеими руками, другой — нехотя — одним пальцем, но, снедаемые суеверным страхом перед угрозой гибели, едва ли кто из них откажется от общей опоры и отстанет от остальных.

Розина принадлежит к тому колену, рыжеволосый тип которого еще более отталкивающ, чем другие. Мужчины этого типа узкогруды, у них длинные куриные шеи с выступающими кадыками.

Должно быть, они усыпаны веснушками с головы до ног и всю жизнь страдают в муках похоти и тайно ведут непрерывную безуспешную борьбу против своих страстей, испытывая вечный страх за свое здоровье.

Мне было непонятно, каким образом вообще можно представить Розину в родственных отношениях с Вассертрумом.

Я ведь никогда не видел ее вблизи старика и не замечал, чтобы они когда-нибудь хоть изредка перекинулись двумя-тремя словами.

Впрочем, она почти всегда находилась в нашем дворе или жалась по темным углам и подъездам.

Все мои соседи, несомненно, считали ее близкой родственницей или, по крайней мере, воспитанницей Вассертрума, и тем не менее я был убежден, что ни у кого не могло быть оснований для подобных предположений.

Мне захотелось отвлечься от мыслей о Розине, и я взглянул в открытое окно своей каморки на Ханпагассе.

Едва Аарон Вассертрум почувствовал, что я на него смотрю, он тут же поднял лицо ко мне.

Свое неподвижное уродливое лицо с круглыми рыбьими глазами и щелястой раздвоенной заячьей губой.

Он казался мне человеком-пауком, чужившим малейшее прикосновение к паутине и притворившимся таким же безразличным ко всему.

На что он жил? О чем думал и что замышлял? Мне было неизвестно.

По верхнему краю каменного свода неизменно висят те же самые допотопные, никому не нужные вещи, не стоящие и ломаного гроша.

Я мог бы перечислить их с закрытыми глазами: вот памятный корнет-а-пистон без поршней, пожелтевшая цветная картинка на бумаге, где в каком-то невероятном строю были изображены солдаты. Связки ржавых шпор, нанизанных на заплесневевший кожаный ремень, и прочая наполовину истлевшая рухлядь.

А впереди на земле — ряд круглых металлических печных плит, уложенных вплотную друг к другу так, чтобы никто не мог переступить порог подвала.

Количество всех этих вещей всегда оставалось неизменным, и если в самом деле появлялся прохожий и спрашивал о цене той или иной вещи, старьевщик впадал в сильное волнение.

Он страшно вздымал заячью губу и раздраженно изрыгал клокочущим прерывистым басом какую-то невнятицу, отчего у покупателя пропадала всякая охота переспрашивать и он, огоршенный, торопливо шел восвояси.

Аарон Вассертрум молниеносно отвел глаза и теперь с напряженным вниманием рассматривал голые стены соседнего дома, вплотную примыкавшие к моему окну.

Только что он там мог увидеть?

Дом ведь стоял тылом к Ханпасгассе, а его окна смотрели во двор! Лишь одно выходило на улицу.

Случайно в помещение, расположенное на верхнем этаже, как и моя комната, — думаю, оно принадлежало угловой студии, — кто-то в этот момент вошел, поскольку за стеною я вдруг услышал голоса мужчины и женщины, разговаривавших друг с другом.

Но было невероятно, чтобы старьевщик услышал их снизу!

За моей дверью кто-то копошился, и я догадался, что это была Розина, стоявшая в сумраке снаружи, с вожделием ожидавшая, что я ее все-таки приглашу к себе.



А на пол-этажа ниже на лестнице, едва дыша, рябой подросток Лойза подстерегает, не открою ли я дверь. Я буквально чувствую его дыхание, исполненное ненавистью и жгучей ревностью ко мне.

Он боится подойти ближе, чтобы Розина не заметила его. Он знает, что зависит от нее, как голодный волк от сторожа, но тем не менее ему бы сейчас ринуться в прыжке и, забыв про все, дать волю своей ярости!

Я расположился за рабочим столом и вытащил пинцеты и штихели.

Но дело не ладилось, моя рука была недостаточно тверда, чтобы справиться с тонкостями японской гравюры.

Тусклое, угрюмое существование, которое влачат в этом доме, не дает мне покоя, и передо мной постоянно всплывают картины прошлого.

Близнецы Лойза и Яромир едва ли на год старше Розины.

Ненамного больше я мог помнить их отца, бывшего про-свирика, теперь о них, кажется, заботится какая-то старуха.

Я только не знал, как она выглядит среди тех, кто скрывался в доме подобно кротам в своих норах.

Она заботится об обоих отроках, то есть дает им крышу над головой, за что они должны выкладывать ей все, что ненароком украли или напопрошайничали.

Может быть, она еще и кормила их? Непохоже, так как старуха возвращалась домой только поздно вечером.

Говорили, что она обмывает покойников.

Лойзу, Яромира и Розину я застал еще детьми, когда они зачастую играли втроем в безобидные игры во дворе.

Много воды, однако, утекло с тех пор.

Теперь Лойза весь день ходит по пятам за рыжей еврейкой.

Порою он долго ищет ее впустую и, если нигде не может найти, крадется к моей двери и ждет со злой гримасой, когда она тайком придет сюда.

Сидя за работой, я мысленно представляю, как он подстерегает за дверью в коленчатом коридоре и подслушивает, опустив свой костистый затылок.



Иногда тишину внезапно нарушает истошный вопль.

Все помыслы глухонемого Яромира наполнены постоянной безумной тягой к Розине, он бродит вокруг дома как дикий зверь, и его нечленораздельный воющий рев, полуосмысленно издаваемый в муках ревности, звучит так зловеще, что кровь в жилах стынет.

Он ищет Лойзу и Розину, всегда подозревая, что они прячутся от него в одном из тысяч грязных закоулков, он слепнет от ярости, вечно подхлестываемый мыслью преследовать брата по пятам, чтобы с Розиной не произошло ничего, что осталось бы неизвестным ему.

И именно эти неслыханные муки калеки, понимаю я, служат возбудителем, подстегивающим Розину без конца искать новых встреч с другим.

Если же ее симпатия или рвение ослабевает, Лойза постоянно изощрается и придумывает особые гадости, чтобы снова разжечь похоть Розины.

Тогда они, нарочно или взаправду, дают глухонемому возможность догнать их и предательски заманивают буяна за собой в темные коридоры, где из ржавых обручей, взметающихся вверх, если на них наступить, и железных грабель, повернутых острыми концами наружу, они загодя сооружают коварную ловушку. Яромир сваливается на нее и ранится до крови.

Чтобы пытка стала нестерпимой, Розина время от времени сама, на свой страх и риск, придумывает какую-нибудь дьявольскую штуку.

Потом она одним махом изменяет отношение к Яромиру и притворяется, будто внезапно заинтересовалась им.

С неизменной ухмылкой она торопливо сообщает калеке вещи, заставляющие его ужасно волноваться. Для этого она изобретает загадочный, наполовину понятный язык жестов, и глухонемой безнадежно запутывается в мертвой хватке сетей неизвестности и изнурительных надежд.

Однажды я видел, как он стоит перед ней во дворе, а она жестами и резко двигая губами уговаривает его, и я подумал, что в любой момент от дикого возбуждения он может лишиться рассудка.

От нечеловеческого напряжения его лицо залилось потом, он пытался уловить смысл намеренно неясного и торопливого сообщения Розины.

И весь следующий день он в лихорадочном ожидании прятался на темных лестницах полуразвалившегося дома, находившегося в конце узкой и грязной Ханпасгассе, и в итоге проворонил время, чтобы выклянчить у прохожих пару монет.

А когда поздно вечером, полуживой от голода и отчаяния, он захотел домой, его приемная мать давно заперла дверь.

Радостный женский смех из соседней студии проник сквозь стены ко мне.

Смех? В этих домах радостный смех? Во всем гетто нет никого, кто был бы способен смеяться.

Тогда я вспомнил, как несколько дней назад старый актер-кукловод Цвак доверительно сообщил мне, что молодой важный господин за высокую цену снял у него студию, видимо, чтобы иметь возможность встречаться со своей дамой сердца без соглядатаев.

Чтобы ни одна живая душа в доме ни о чем не догадалась, каждую ночь нужно было понемногу и скрытно носить наверх дорогую мебель нового жильца.

Потирая от удовольствия руки, добродушный старик рассказывал мне об этом и по-детски радовался, как он все так ловко устроил: ни один жилец даже не догадался о романтической влюбленной паре.

Минуя три дома, можно было незаметно попасть в студию. Даже через чердачную дверь был проход!

Да, если открыть железную дверь чердака — а это очень легко сделать снаружи, — можно было, пройдя мимо двери моей каморки, попасть на лестницу нашего дома и использовать ее как выход...

Сверху снова раздался радостный смех и разбудил во мне смутные воспоминания об одном роскошном доме и знатном семействе, куда я был часто зван, чтобы реставрировать дорогие антикварные вещи.

Внезапно поблизости я слышу пронзительный крик. Я испуганно вслушиваюсь.

Резкий хрип железной чердачной двери, и в следующий момент в мою комнату врывается женщина.

С распущенными волосами, бледная как смерть, с золотистой парчовой накидкой на обнаженных плечах.

— Мастер Пернат, ради Христа, спрячьте меня, не спрашивайте, спрячьте меня здесь!

Не успел я ответить, как дверь вторично рывком распахнулась и тотчас снова захлопнулась.

На секунду в нее просунулось оскалившееся лицо Аарона Вассертрума, похожее на страшную маску.

Круглое блестящее пятно всплывает передо мной, и в лунном свете я вновь узнаю изножье своей кровати.

Сон еще давит на меня, как тяжелый шерстистый покров, и в памяти всплывает имя Пернат, написанное золотыми буквами.

Где же я прочел это имя — Атанасиус Пернат?

Я все думаю и думаю, что однажды давным-давно я где-то перепутал свою шляпу с чужой и тогда же удивился, что она пришлась мне в самую пору, хотя голова моя была чрезвычайно странной формы.

Я заглянул внутрь чужой шляпы — да-да, там на белой подкладке находились позолоченные бумажные буквы:

#### АТАНАСИУС ПЕРНАТ

Не знаю почему, но я в испуге отшатнулся от этой шляпы.

Тут внезапно раздался голос, о котором я позабыл и который, вечно пытаюсь дознаться у меня, где находится камень, похожий на сало, метнулся навстречу мне словно стрела.

Я немедленно представляю себе четкий, слащаво улыбающийся профиль рыжей Розины, и таким манером мне удастся увернуться от стрелы, тут же исчезнувшей в потемках.

Да, лицо Розины! Оно все-таки действует более сильно, чем тупо бубнящий голос; и сейчас, когда я снова укроюсь в своей камерке на Ханпасгассе, то совсем успокоюсь.



«И»

Если я не обманывался в ощущении того, что кто-то поднимается за мной на определенном, одном и том же, расстоянии по лестнице, чтобы посетить меня, то этот кто-то должен был теперь находиться приблизительно на последней лестничной площадке.

Сейчас он огибает угол, где находится квартира архивариуса Шмаи Гиллеля, и ступает со стертого кафеля на лестничную площадку верхнего этажа, выложенную красным кирпичом.

Вот он ощупью шарит вдоль стены и сейчас, именно сейчас, с большим трудом разбирая впотьмах буквы, прочтет мою фамилию на дверной табличке.

Выпрямившись, я встал посередине комнаты и взглянул на дверь.

Вот дверь отворилась, и он вошел.

Он сделал полшага навстречу ко мне, не снимая шляпы и не здороваясь.

Я понимал, что он держался как у себя дома, и нашел совершенно естественным, что он вел себя так, а не иначе.

Он опустил руку в карман и извлек оттуда книгу.

Потом долго перелистывал ее.

Переплет был металлическим, а углубления в форме розеток и печатей раскрашены и заполнены крошечными камешками.

Наконец он нашел нужный отрывок, который искал, и указал на него.

Глава называлась «Иббур». «Духовное зачатие», — перевел я.

Я невольно проскочил ее глазами. Буква была помята с краю.

Мне следовало бы ее поправить.

Инициал не был наклеен на пергамент, как это мне случилось встречать прежде в старинных книгах, более того, он, видимо, состоял из двух листиков тонкого золота, спаянных в центре и концами охвативших пергамент по краям.

Значит, там, где находилась буква, в странице вырезано отверстие?

Если это так, тогда на следующей странице «И» должна стоять обратной стороной?

Я перевернул страницу, и моя догадка подтвердилась.

Невольно я прочел и эту, и следующие страницы.

И продолжал читать дальше и дальше.

Книга взывала ко мне, как взывает сон, только яснее и гораздо понятнее и взволновала мою душу, как волнует загадка.

Слова истекали из невидимых уст, оживали и приближались ко мне. Они кружились и вертелись передо мной в разные стороны, словно рабыни в пестрых одеяниях, потом исчезали под землей или растворялись подобно серебристому мареву в воздухе, уступая место следующим. Каждая хотя бы минуту надеялась, что я выберу ее и тут же отвергну другие.

Некоторые из тех, кто шествовал, блистая роскошью, словно пава, были одеты в сверкающие одеяния, и поступь их была нетороплива и степенна.

Другие выглядели как королевы, но уже состарившиеся, отжившие свое, с подведенными веками, порочными складками у рта, с морщинами, похороненными под отвратительными румянами.

Я не обращал на них внимания и смотрел на шедших следом за ними. Мой взгляд скользил по бесконечной веренице серых фигур с такими заурядными и маловыразительными лицами, что казалось невозможным, чтобы они оставили след в памяти.

Волоком они притащили за собой женщину, совершенно обнаженную, она была исполинского роста, словно медный колосс.

На миг женщина остановилась передо мной и затем наклонилась ко мне.

Ее ресницы были длиной в мой рост, она безмолвно показывала на пульс своей левой руки.

Он бился с силой, равной землетрясению, и я чувствовал, что это бьется жизнь вселенной.

Вдали буйствовал хоровод корибантов<sup>1</sup>.

Какие-то мужчина и женщина сплелись в объятии. Мне было видно, как они подходят все ближе и как все ближе бушует хоровод.

Теперь я вплотную слышал шумные гимны охваченных экстазом фигур, а мои глаза искали сплетенную в объятии пару.

Однако она приняла целокупную форму и сидела — полумужчина-полуженщина, гермафродит, — на перламутровом троне.

Голову гермафродита венчала корона из красного дерева — червь разрушения подточил и прогрыз внутри ее загадочные рунические знаки.

Следом в облаке пыли торопливо семенило стадо небольших слепых агнцев: съедобных тварей гнал во главе своей свиты двуполый великан, чтобы поддерживать жизнь в корибантах.

Порою среди фигур, истекающих из невидимых уст, встречались и такие, что восстали из могил с платками на лице.

И, замирая передо мной, они внезапно срывали свои покровы и голодным хищным взглядом пронзали мою душу. Леденящий ужас сковывал мой мозг, и кровь моя останавливалась подобно потоку, в который с небес низверглись каменные глыбы — внезапно в сердцевину русла.

Женщина пролетала надо мной. Я не видел ее лица, она отвернулась, и на ней был плащ из струящихся слез.

Ряженые плясали, ржали и не горевали обо мне.

Только Пьеро в задумчивости оглядывается на меня и возвращается обратно. Садится передо мной и всматривается в мое лицо, как в зеркало.

Он корчит такие странные рожи, вздымает руки и машет ими то медленно, то с бешеной скоростью, что у меня возникает таинственный порыв подражать ему, подмигивать, как он, подергивать плечами и растягивать уголки рта.

---

<sup>1</sup> *Корибанты* — демонические существа из греческой мифологии, служившие богине материнства и плодородия Кибеле.



В это время его нетерпеливо начинают отталкивать в сторону напирательные сзади фигуры, и каждая из них жаждет предстать передо мной.

Однако все существа преходящи.

Они — скользкие на шелковой нитке перлы, отдельные звуки одной-единственной мелодии, истекающей из невидимых уст.

Это была больше не книга, взывавшая ко мне. Был явлен голос. Голос, требовавший от меня чего-то, чего я не мог понять, сколько бы ни бился. Он изводит меня жгучими непонятными вопросами.

Но голос, произносивший эти зримые слова, угасал, и угасал без отзыва.

У каждого звука, раздающегося в сегодняшнем мире, есть множество эхо, как у каждой вещи есть множество длинных теней и множество куцых. Но у этого голоса больше не было эха — уже давным-давно оно рассеялось и отзвучало.

И я до конца прочел книгу и еще держал ее в руках, когда мне почудилось, будто я ищу нужную мне страницу не в самой книге, а в своей голове!

Все, что вещал мне голос, что я с рождения носил в себе, было только скрыто и забыто и хранилось в тайне от моего сознания до сегодняшнего дня.

Я поднял глаза.

Куда исчез человек, принесший мне книгу?

Ушел?

Заберет ли он книгу, если она закончена? Или я должен вернуть ее ему?

Однако я никак не мог припомнить, сообщил ли он, где живет.

Мне хотелось воскресить в памяти его приход, но это не удалось.

Во что он был одет? Старый или молодой? И какого цвета у него были волосы и борода?

Ничего, решительно ничего не мог я теперь воспроизвести.

Все портреты, написанные мной с него, неудержимо расплывались, прежде чем я мысленно успевал сопоставить их друг с другом.

Я закрыл глаза и надавил ладонью на веки, чтобы схватить хотя бы самую малую деталь в его облике.

Пустота, пустота.

Я остановился в центре комнаты и взглянул на дверь, как я это сделал раньше, когда он вошел, и начал воображать: вот он обходит угол, вот ступает на кирпичный пол, теперь читает дверную табличку «Атанасиус Пернат», а теперь входит. Напрасный труд.

Мне не удалось восстановить в памяти ни малейшего следа того, как он выглядел внешне.

На столе я видел книгу и мысленно представлял руку, извлекающую книгу из кармана и протягивающую ее мне.

Я даже не мог вспомнить, была ли рука в перчатке или оставалась обнаженной, молодая или морщинистая, украшена кольцами или нет.

И тогда меня вдруг осенила необычная идея.

Как будто она была внушена мне, и я был не в силах сопротивляться ей.

Я надел пальто, водрузил на голову шляпу, вышел в коридор и спустился по лестнице. Затем не спеша стал возвращаться к себе в каморку.

Я шел так же медленно, как он, когда поднимался ко мне. И, едва открыв дверь, увидел, что моя каморка погружена в сумрак. Разве не было еще светло, когда я только что выходил?

Сколько же времени я ломал себе голову, если не заметил, что уже давно стемнело!

И я попытался воспроизвести походку и выражение лица незнакомца, но ничего не мог вспомнить.

Впрочем, мог ли я добиться успеха, копируя незнакомца, если у меня не было ни малейшего представления о его внешности?

Однако вышло иначе. Совсем иначе, чем я думал.

Моя кожа, мускулы, тело вдруг обрели память, обойдясь без помощи мозга. Они двигались вопреки моим желаниям и намерениям.

Как будто мое тело больше не принадлежало мне!

Едва я сделал несколько шагов по комнате, как моя походка стала тяжелой и непривычной для меня.

«Это шаркающая походка человека, готового в любое время упасть», — сказал я себе.

Да, да, да, то была его походка!

Мне стало совершенно ясно — это именно он.

У меня было чужое безбородое лицо с выдающимися скулами и раскосыми глазами.

Я чувствовал это, но не мог взглянуть на себя со стороны.

Это не мое лицо, в ужасе хотелось мне закричать, я пытался ощупать его, но рука не повиновалась мне, а опустилась в карман и извлекла книгу.

Точь-в-точь так же, как он это делал недавно.

Вдруг я снова оказался за столом без шляпы и пальто, и этот я был я. Я. Я.

Атанасиус Пернат.

Меня трясло от ужаса и страха, сердце вот-вот готово было разорваться, и я чувствовал: таинственные пальцы, только что шарившие в моем мозгу, оставили меня в покое.

Я еще ощущал в затылке ледяной след от их прикосновения.

Теперь я знал, как выглядел незнакомец, и мог бы снова почувствовать его в себе в любой момент, стоило мне лишь захотеть; но представить себе его облик, чтобы видеть его перед собой лицом к лицу, — этого я все еще не мог сделать, а впрочем, никогда и не смог бы.

Я понимал, что он выглядел как негатив, незримая пустая форма, контуров которой я не в состоянии осмыслить, в чье нутро я обязан проскользнуть сам, если мне хочется узнать ее облик и внешний вид в собственном «я».

В ящичке моего стола стояла железная шкатулка, в нее я хотел спрятать книгу; пока не обострился приступ душевной болезни, мне снова хотелось взять ее и поправить испорченную заглавную «И».



Я взял книгу со стола.

И у меня возникло ощущение, будто я и не брал ее. Я взял шкатулку — то же самое чувство. Словно прикосновению пришлось преодолеть огромное пространство, погруженное в глубокий мрак, прежде чем дойти до моего сознания, как будто предметы были отдалены от меня годовым пластом времени и принадлежали прошлому, давным-давно ушедшему из моей жизни.

Голос, кружащий в темноте, чтобы найти меня и изводить засаленным камнем, пролетает мимо и не замечает меня. И я знаю, что он родом из царства сновидений. Но то, что я пережил, было реальной жизнью — поэтому он не в силах увидеть меня и ищет впусую, вот что я чувствую.

## ПРАГА

Рядом со мною стоял студент Хароузек, воротник его тонкого, потертого летнего пальто был поднят, и я слышал, как он от холода клацал зубами.

Он может замерзнуть до смерти, сказал я про себя, в этой продуваемой насквозь ледяной арке ворот, и пригласил его к себе домой.

Но он отказался.

— Благодарю вас, мастер Пернат, — пробормотал он дрожа, — к сожалению, у меня не так много времени, мне срочно нужно в город. К тому же мы промокнем до ниточки сразу же, как только выйдем на улицу, уже через несколько шагов. Ливень не стихнет!

Водяные потоки обрушивались на крыши и сбегали по фасадам домов рекою слез.

Я высунул голову из-под арки и увидел на четвертом этаже свое окно, орошаемое дождем. Казалось, стекла размякли, стали мутными и бугристыми, как рыбий клей.

Желтый грязный ручей стекал по переулку, арка ворот заполнялась прохожими, ждавшими окончания грозы.

— Вон плывет свадебный букет, — вдруг проговорил Хароузек и показал на увядшие миртовые стебли, которые несла мутная вода. Сзади нас кто-то громко рассмеялся.

Обернувшись, я увидел, что это был пожилой, хорошо одетый седой мужчина с одутловатым, как у крота, лицом.

Хароузек тоже оглянулся и что-то буркнул себе под нос.

Было что-то отталкивающее в старике, я отвернулся и стал разглядывать безобразно выкрашенные дома, жавшиеся друг к другу, как сердитые старые звери под дождем.

До чего же у них был неуютный и заброшенный вид!

Возведенные без всякого плана, дома высились здесь, как плевелы, пробившиеся сквозь землю.

Они примыкали к низкой каменной стене, единственному уцелевшему остатку длинного здания, построенного прежде других. Воздвигнутые два-три столетия назад, они не считались с соседством прочих сооружений. Вон там стоит косоугольный дом с уходящим назад лбом, а рядом другой, выступающий подобно клыку.

Под хмурым небом они выглядели так, будто уснули, и ничто не говорило о злобе и вражде, порою источаемой ими, когда в переулочек спускалась хмарь осенних вечеров и помогала скрыть их вялые, едва заметные гримасы.

За долгие годы жизни во мне укоренилось чувство, от которого я не могу избавиться: как будто этим домам отведены определенные ночные часы и раннее утро, когда они, волнуясь, собираются на бесшумный таинственный совет. И тогда порою их стены охватывает легкая необъяснимая дрожь, по их крышам струятся шорохи и низвергаются в водосточные трубы — и мы небрежно принимаем их жизнь с тупым равнодушием, не докапываясь до ее первоосновы.

Зачастую мне снилось, что я как будто подглядывал за этими домами в их призрачном житье-бытье и с удивлением и тревогой узнавал, что тайными, настоящими хозяевами переулочка были они, чуждые жизни и сознанию и способные заново вернуть их себе. Днем они могли ссудить эту жизнь жильцам, приютившимся здесь, чтобы ночью вновь потребовать ее возврата с ростовщическим прибытком.

Перед моим мысленным взором проходили странные люди, жившие в них как тени, как существа, рожденные не от женщин, в своих помыслах и делах казавшиеся сшитыми из разных кусков без разбора. И я больше чем когда-либо склонен был думать, что подобные сны скрывали в себе темные истины, продолжавшие мерцать для меня наяву только как впечатления от красочных сказок души.

Тогда во мне снова украдкой воскресает легенда о таинственном Големе, искусственном человеке, которого однажды здесь, в гетто, вылепил из глины раввин, знавший Каббалу как свои пять пальцев и заставлявший его действовать бездумно и автоматически, вложив ему в рот печать с магическими знаками.

И подобно тому как Голем в ту же самую секунду становился глиняным истуканом, если тайные знаки жизни извлекались из его рта, так и все эти люди, думалось мне, должны были мгновенно падать замертво, если у одного из головы исчезали его жалкие понятия, мелочные заботы, может быть, нелепые привычки, а у другого и вовсе испарялась смутная надежда на что-то совершенно расплывчатое и шаткое.

И какая постоянная пугливая настороженность жила в этих созданиях!

Никогда их не было видно за работой, этих людей, и тем не менее они вставали ни свет ни заря и ждали с затаенным дыханием — так ждут жертву, которая, однако, никогда не появляется.

Но однажды кто-то в самом деле переступил их пределы, какой-то беззащитный человек, на котором они могли бы нажить, как вдруг на них напал парализующий страх, загнавший их в свои углы, и они в ужасе отказались от всяких замыслов.

Никто им не кажется достаточно слабым, чтобы у них нашлась изрядная доля мужества обратять его.

— Выморочные беззубые хищники, лишённые власти и оружия, — задумчиво произнес Хароузек и посмотрел на меня.

Откуда ему было знать, о чем я думаю? Я чувствовал, что порой его мысли могли настолько сильно возбуждаться, что



были в состоянии перескакивать в мозг стоявшего рядом человека, как брызжащие искры.

— ...На что они только живут? — спросил я после небольшой паузы.

— На что живут? Да один из них миллионер!

Я взглянул на Хароузeka. Что это значило?

Но студент молчал, уставясь в пасмурное небо.

На минуту журчащий шепоток под аркой смолк, и был только слышен шелест дождевых струй.

Что же он хотел этим сказать — «Один из них миллионер!»?

Снова вышло так, будто Хароузек разгадал мои мысли.

Он показал на лавку старьевщика, расположенную рядом с нами, струи воды смывали ржавчину с железного хлама, расплывавшуюся в рыже-бурую лужу.

— Аарон Вассертрум! Он, к примеру, миллионер — в его владении почти треть еврейского квартала. Так вы, господин Пернат, не знаете этого?!

— Аарон Вассертрум! Старьевщик Аарон Вассертрум — миллионер?! — Я буквально задохнулся.

— О, я его насквозь вижу, — продолжал злорадно Хароузек, как будто только и ждал моего вопроса. — Я знал и его сына, доктора Вассори. Никогда о нем не слышали? О докторе Вассори — знаменитом окулисте? Еще год назад весь город восторгался им как великим ученым. В то время никто не знал, что он сменил свою фамилию и что раньше его фамилия была Вассертрум. Ему нравилось разыгрывать из себя человека науки, не от мира сего. И если когда-нибудь заходила речь о предках, он со скромностью и глубоким волнением бросал короткое замечание, что его отец был родом из гетто и, чтобы выбиться из самых низов вверх, к свету, из бесконечного горя и несказанных забот, он должен был в поте лица добывать хлеб свой. Да! Среди горя и забот!

Но *чьими* заботами и горем и какими средствами он вышел в люди — об этом молчок!

А я-то знаю, какие дела творились в гетто! — Хароузек схватил мою руку и крепко сжал ее.

## СОДЕРЖАНИЕ

ГОЛЕМ. <i>Перевод А. Солянова</i> .....	5
ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ. <i>Перевод В. Фадеева</i> .....	243
АНГЕЛ ЗАПАДНОГО ОКНА. <i>Перевод Г. Снежинской</i> .....	405
Мой новый роман <i>Густав Майринк об «Ангеле западного окна»</i> <i>Перевод Г. Снежинской</i> .....	810